Юрий Мамлеев

Мемуары

Часть сборника

Трава была зеленее, или
Писатели о своем детстве

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Иных видишь сидящими, едящими или большей частью лежащими, а Гусик напоминал неугомонную птицу, вроде стрижа, который, кажется, только и делает, что носится над землей.

Ранней весной в середине шестидесятых он влек меня от Красных Ворот на Абельмановку. Точно было солнце и капель…»

- Александр Дорофеев
  - ○

Александр Дорофеев
Гусик

Это только кажется, что ничего нет

Иных видишь сидящими, едящими или большей частью лежащими, а Гусик напоминал неугомонную птицу, вроде стрижа, который, кажется, только и делает, что носится над землей.

Ранней весной в середине шестидесятых он влек меня от Красных Ворот на Абельмановку. Точно было солнце и капель.

Путь усложнялся, поскольку Гусика притягивали все ближайшие газетные ларьки.

В тени высотки на Каланчевке напротив Лермонтова – может, того еще и не было? – он распахнул свежий номер «Огонька». На ослепительно-глянцевой странице протянулась узенькая черная колонка, некая струйка утекающей зимы – «метели летели, метели мели»…

Он быстро пробежал глазами первое свое стихотворение, напечатанное в таком большом журнале: «Конечно, могли бы побуйствовать и на целый разворот», – усмехнулся вслед скоро уставшим метелям и превратил журнал в подзорную трубу, куда, пожалуй, уже стремились другие ветры, вроде осеннего листобоя, и мерещился поблизости то ли памятник Михаилу Юрьевичу, почти ровеснику, то ли сам небесный охотник Орион, взиравший с небес на беглых недопесков.

«Должен сказать, – заметил Гусик, – что я просто радуюсь и удивляюсь тому, что научился когда-то читать и писать. Горжусь про себя этим умением, чего и тебе желаю. Ну-ка, почитай, что я задавал! Выучил, отрок?»

«Трусоват был Ваня бедный, – сообщил я, – Раз он позднею порой, весь в поту, от страха бледный, чрез кладбище шел домой»…

И когда дошел до конца, где выяснялось, что это не вурдалак на могиле, а собака, счастья сразу прибыло тем весенним днем.

Словом, к Пушкину Гусик подвел меня не с парадного, а как-то сбоку, представив сразу увлекательным, так что погодя и «мой дядя самых честных правил» не заставлял скучать.

В полуподвале на Абельмановке было полутемно, и казалось, в кухонном углу кто-то кость ворча грызет. Гусик набрал чайник, цыкнув на кран, и тот примолк.

Заманчиво пахло маслом в тюбиках и скипидаром. Картины на стене были ярче окна. На одной раскраснелся давно, видно, кипевший чайник. Другую занимала огромная крона дерева с двумя невиданными плодами.

«Портрет Анны Ахматовой. Величайшая!» – пояснил Гусик.

И с тех пор всякая настоящая поэтесса представлялась мне именно такой – мощной, как старая, дивно и обильно плодоносящая антоновка.

Составленными им колерами в баночках я рисовал на бумаге каких-то зверей, от бегемота и жирафа до козла в огороде, и Гусик выставлял оценки, низшей из которых была гуманная четверка.

Рядом с домом в Хоромном тупике, где он родился и жил тогда, находилось первое в Москве стеклянное кафе «Чудесница». Нередко мы заходили туда и поедали сосиски с кукурузой или зеленым горошком. Вкуснее ничего, кажется, не было.

«Жаль только, что сосиски без костей, – сказал как-то Гусик. – Поглодать хорошую кость, особенно рыбью, вот наслаждение!»

Он всегда почтительно относился к рыбе. А приготовление ухи из пойманных самолично вологодских горбатых окуней вкупе с поеданием оборачивалось чистым шаманством.

«На твоем месте я бы уже заготавливал сахарные косточки и читал кинологическую литературу, – продолжал на улице. – Вчера повстречал на птичьем рынке милейшего разговорчивого сеттера, который изъявил желание пойти к тебе на службу – к Александру, говорит, с превеликим удовольствием. Думаю, он прав. Ты уже созрел для собаки. Кстати, когда Пушкину исполнилось пятнадцать, его стали называть полным именем. Вот и я буду звать тебя Александром. А ты, просьба нижайшая, не кличь меня принародно Гусиком. Знаешь ли, у посторонних людей возникает слишком много вопросов – мудрено разъяснять!»

Это птичье имя выпорхнуло когда-то совсем случайно. В подмосковном саду Юра писал бревенчатый дом и плодовые деревья, а я вертелся позади, легко отыскивая различия с натурой.

«Ну, ты и гусик!» – обернулся он в конце концов.

«Сам гусик!» – откликнулся я. «Очень может быть!» – рассеянно кивнул он. С тех пор имя и прилипло к нему – лет на пять.

О, счастливые годы! С Гусиком я ощущал себя приголубленным щенком и готов был бежать за ним куда угодно, внимающий каждому слову и незаметно для себя дрессируемый.

Я был вполне пустым сосудом и, кажется, дырявым. И Гусик

от собственной избыточности наполнял меня всем, что под руку подворачивалось, – стихами, живописью, названиями трав, луговых цветов, созвездий и собачьих пород…

В Вологодской области, куда ездили на рыбалку, показывал, как ловчее тащить чуткого язя, убегая наперевес с удилищем от берега. Учил разбираться в грибах, ягодах и литературе.

Он вливал в меня Олешу, Бабеля, Зощенко и Платонова, Мелвила, Джойса и Фолкнера, Юрия Казакова, Георгия Семенова и Андрея Битова. Кое-что оставалось.

Мой первый литературный опыт под названием «Рыба и луна», который он посчитал достойным, сразу пристроил в журнал «Рыбоводство и рыболовство».

А я-то ему чего мог дать? Да ничего, пожалуй, кроме преданности и дружеской любви.

Немудрено, что и в первой моей книжке сквозили Юрины интонации. Ведь он и правил своей рукой мои миниатюры, склоняя их ко все большей краткости. Но чаще охватывал какой-нибудь абзац дугой и помечал на полях – «Переписать, разыграть, ничего не потерять, но приобрести»…

«Смотри на машинописную страницу как художник, – говорил он. – Она должна быть графически изящна, архитектурна, а не забита буквами сверху донизу, как мешок картошкой. Оставляй воздух для дыхания!»

С переменой имен наступили новые времена. Иной раз Юра бывал так строг, что хотелось немедленно пожечь разруганный им рассказ или этюд. Впрочем, он же и останавливал: «Может, ошибаюсь. Кажется, есть пара точных слов, а в том уголке – проблески живописи. Отложи подальше, а потом сам разберешься»…

Вскоре после того, как я окончил школу, Юра договорился с друзьями, чтобы те взяли меня в археологическую экспедицию на черноморский остров.

«Знаешь, Саня, как раз в твоем возрасте я поехал в Геленджик зимой и жил там один и только и делал, что писал и рисовал. Привез двадцать этюдов темперой на бумаге – они мне и сейчас нравятся, – наставлял он перед поездкой. – Остров для тебя должен быть этапом. Как Таити для Гогена. Вот лозунг. Уже в поезде записывай, как представляешь остров. Рисуй и пиши постоянно, ничему не отдавая предпочтения, но ни в коем случае не простаивай! Кроме этюдов на больших листах, ты должен привезти очерк. Для себя и для меня. Очерк, который можно будет отдать в журнал «Вокруг света». Ничто на острове не должно ускользнуть от тебя: и работа археологов, и пейзаж, и то, что под ногами, в море и над головой. Ежедневная нацеленность:

накапливай строчки и образы, не позволяй себе распускаться, чего-то не записать, – накачивал он меня, как резиновую лодку перед сплавом по горной реке. – Если кажется, что нечего записывать – все равно надо записывать. Хорошо запомни: это только кажется, что ничего нет! Ну, еще не пей вина, а, выпив, не купайся в море. Покрывай голову и не сгори в первые дни. Не лезь в грязные истории. Дни и деньги трать бережливо»…

Вероятно, таким образом он и сам заодно настраивался на работу, что у него здорово получалось – коли не писал, так рисовал. Или рубил деревянную скульптуру, или же разучивал на гитаре пятый этюд Джулиани. Да и самое обычное выпивание вина обставлялось как-то любовно-художественно – с распахнутой душой и застольно-величальными песнями.

Юра был для меня не только учителем, но и, так сказать, путеводителем. Узнав, что я собираюсь поступать в геодезический институт, крайне удивился: «Что я слышу? Стыдись! Это совсем не твое дело! Иди в реставрацию. Я уже поговорил о тебе с одним монументальным императором»…

«В каком смысле император?» – не понял я.

«В прямом смысле. Стал бы я общаться с проконсулом! На прошлой неделе мылся с ним в Тетеринских банях. После парилки он так царственно запахнулся простыней с клеймом «ТБ» на пузе, что сомнений не оставалось – император Тиберий»…

Так очутился я под державным крылом Тиберия, побывав с ним во многих уголках нашей угасавшей уже империи, где то и дело требовалось что-либо реставрировать.

Понятно, что с Юрой мы виделись реже. Зато от него приходили письма – из Крыма в Белоруссию, из Переделкина в Самарканд…

«Дорогой мой племянник, сын и брат Александр! Пишу тебе письмо на обороте черновика рукописи «Монахов». Во-первых, экономлю бумагу, во-вторых – это романтично. Спасибо тебе за «Приму» и резиновые шлепанцы. Поверь, что я немедленно надел эти шлепанцы и сунул в зубы «Приму». Все оказалось весьма кстати, потому что за день до получения посылки я натер на ноге огромнейший волдырь и ничего не мог напялить на ногу, прибинтовывая оную к тапочку. А как получил твои шлепанцы, дело пошло на лад, хотя этот проклятый волдырь до сих пор не пускает меня в море. Так что не купаюсь уже три дня, но бледный, худой, с молодым животиком, в рваной тельняшке, никому не нужный, но одухотворенный, печатаю на машинке, суша бычков. Ем черешню.

Здесь не так уж плохо, хотя и плоховато. Под окном комнаты бегают дети. Они кричат и иногда отвратительно какают. Тем не

менее мне жаль, что ты не приехал сюда. Мы бы с тобой плавали на лодке в море ловить бычков, которых пропасть. Все время вспоминаю наш разговор в электричке насчет книжки «Сорок сороков». Мне кажется, это стоящее дело. Готов помочь тебе, как угодно, вплоть до соавторства. Обнимаю тебя, мой дорогой. Надеюсь, что ты встретишь весьма соскучившегося по тебе твоего дядьку, сидящего в данный момент под акацией. В заключение скажу, что я тобой премного доволен. Будь здоров. 30 июня 76 года. Юра».

На обратной стороне листа правленный вдоль и поперек машинописный текст как раз рассказывал о посещении Тетеринских бань героями «Пяти похищенных монахов».

«Они шли медленно и величаво, у каждого в руке березовый веник, а в другой портфель. Высокий, битый молниями тополь с черными узловатыми ветвями склонился над входом в переулок», – было вписано каким-то лиственным, растительно-летним, убедительным почерком.

«Конечно, насочинять можно с три короба, – говаривал бывало Юра, – но все это вряд ли удержится без точных образных деталей, которые надо узреть собственными глазами»…

«Здравствуй, Саня, мой дорогой друг и любимый товарищ! Вряд ли ты видел солнечное затмение? Проворонил, наверное. Я вчера смотрел это затмение и простудился, надуло мне зуб. Болит, ревет и стогне. Стараюсь работать и в рот не беру спиртного. Пишу «Монахов» и «Размышления о своей «литературной молодости» по заказу Интернациональной библиотеки в Мюнхене. Пишу и думаю, не старость ли это – размышлять о «литературной молодости»? Обнимаю и посылаю 20 рублей, как средство от землетрясений. Не вздумай на них мне ничего покупать – гуляй. Помню, я в твои годы скакал на бешеном коне, рубал шашкой, строчил из пулемета, а теперь вставляю себе зубы, печалюсь о былом, глажу кошку. Нет, все это уже не то. И сердце в груди дает свои перебои. И все-таки мы еще, Саня, мы все-таки еще имеем кое-что, а не только печаль о прошлом. А имеем мы, между прочим, плечи, и хотя не сияют на них золотые погоны и ордена, что обидно, зато под простою рубашкой в них бьется горячая кровь. И вы, дорогой наш товарищ, на эти кровавые, изрубленные бытом плечи можете опираться, как вам надо. Но мы не подставим эти плечи всякому шкуре и говну, а вам, дорогой товарищ, мы их подставляем и говорим: «Нате вам эти плечи. Обопритесь на них, отдохните от грубого быта». Итак, дорогой товарищ, мы дарим вам эти плечи, кроме книг, которые припасены. Но мы отнимем от вас эти плечи и даже начнем ими пихаться, если вы не будете выполнять наши заветы.

И первый завет: не быть болваном и простодырой и не давать обводить себя вокруг пальца. А второй: не отчаиваться и не терять надежды, хотя это и к нам относится. Третий: любить родных и не терять друзей, что довольно-таки порой и трудно. Четвертый: оставаться самим собой, что у вас получается пока неплохо. И только лишь надо это углубить. Пятый: не жениться раньше времени. Шестой: писать и рисовать, не ленясь и не стесняясь, и пускай свирепствует вьюга или гложет голову жара. Есть, наверное, и еще заветы, да что-то не можем пока их припомнить. Твой, между прочим, отчасти дядька и детский писатель – Юр. Коваль».

В журнале «Юный художник» Юра прочитал мой очерк о самаркандском медресе «Регистан», где, в частности, отмечалось, насколько величаво звучит это имя. «Да уж, действительно гордо, точно гимн Советского Союза!» – припомнил он соавтора государственных стихов Гарольда Эль Регистана.

Юра любил и знал этот мир, даже если иной раз чего-то недопонимал и недолюбливал. Не слишком углублялся в социально-общественное устройство и метафизику, наслаждаясь всеми доступными положительными чувствами, которые особенно блаженствовали вдали от Москвы.

«Собираюсь много сейчас ездить, жить в Москве тяжко и неприятно», – вздыхал он.

Само понятие «дача», особенно подмосковная, приводило его в сдержанное уныние. А в глухих деревнях, среди лесов, озер и рек он расцветал. Легко сходился с местными мужиками, от которых порой неизвестно чего можно было ожидать. Умудрялся найти общий язык и мирно разойтись с совсем уж темными личностями, сдерживая притом мои глуповатые порывы помериться силой и постоять за некую отвлеченную правду.

Единственное, кого он опасался, так это стада коров. Не понимал их коллективно-печального, глубокого взгляда и на всякий случай сторонился.

Пожалуй, Юра стремился к первобытной простоте, не отвергая, впрочем, достижений цивилизации, вроде домов творчества или телескопической удочки, которые тоже принимал как своеобразные явления природы.

«О жареный пупок!» – воздевал он, как авгур, руки к летящим в небе весенним гусям. И огорчался, если не находил в окружающих созвучного восторга.

У него было множество знакомых, пребывающих в большинстве своем на зыбкой грани между друзьями и приятелями.

В те годы к мужской дружбе вообще относились куда

серьезнее, ответственнее, вкладывая в нее хемингуэевский смысл товарищества по оружию.

Незначительная осечка в поведении могла привести к долгому разрыву отношений – друг переходил в разряд приятеля, а приятеля вообще списывали с корабля. Так пострадал император Тиберий, свергнутый в одночасье за поверхностные рассуждения о живописи и за высокомерное пристрастие к краскам на основе полудрагоценных камней – тертых малахита и лазурита. «Сик транзит», – побледнел он, покидая мастерскую в Серебряническом переулке. «Пригляди за ним, – попросил меня Юра, – кабы в Яузу не бросился»…

У меня-то, наверное, таких осечек было предостаточно, но Юра прощал, как непутевого юнгу. Только удивленно приподнимал бровь – мол, не понимаю, в чем дело, что с тобой такое, офонарел? «Скажу тебе своим юношеским стихом – мне неприятны презервативы за то, что они некрасивы. Но встречается, увы, поведение, живо напоминающее это примитивное превентивное средство»…

Как-то заприметив мою безответную влюбленность в некую барышню, он сказал между прочим: «Еду вчера в трамвае с одной роскошной, отчасти знакомой дамой. Вдруг в районе Покровки она склоняется ко мне и говорит: поцелуй меня. Не колеблясь, как истинный схимник, отвечаю: три рубля! Ну, и схлопотал, конечно, по уху. Да, брат, женщина – чудо. Однако мало ли в мире чудес? Все тлен, прах и к тому же суета сует. Давным-давно ведь сказано: не сотвори себе кумира!»

Со временем, случалось, и я уже не взирал на него, как прежде, бесконечно-счастливо-щенячьими глазами. Но уж коли он брал гитару, прежнее блаженство немедленно возвращалось.

«Вот вывихнул палец, – пожаловался однажды Юра, тронув струны. – Представь, покалечился, надевая носок. Только никому не говори о моем позоре»…

И я честно молчал. Недавно сообразил – как здорово, если ничего позорнее не припомнить.

Когда в день Ильи-пророка он расставался с этим миром, в холоде его застывшего лба ощущалась усталость метелей, а на лице замерли удивление и сожаление. Верно, опечалился, не в силах рассказать о том, что теперь видит и слышит.

Но и по сию пору, как откроешь его книги или подумаешь о нем, так наполняешься радостью, любовью и простым знанием – это только кажется, что его нет.

Увы, далеко не все Юрины заветы я в точности исполнял, зато этот хорошо запомнил, как он и просил лет пятьдесят назад.